

Он вытащил из кармана брюк пачку сигарет, вытянул одну и прикурил.

Под светом лампы медленно клубился дым, размывая его нахмуренные брови.

За окном от далеких гор в ночи остались лишь темно-синие силуэты.

Доцзи выпустил струю дыма и вдруг вспомнил слова наставника.

В глубинах тибетских земель мужество и сила мужчины стоят наравне.

Он собственными глазами видел, как мужчина из соседней деревни не смог защитить собственных яков и беспомощно смотрел, как чужаки обижают его жену.

Помнил он и собственную беспомощность, когда отец был избит толпой приезжих, а он сам мог лишь дрожать, свернувшись калачиком в объятиях матери.

На тех пастбищах тогда кулаки были законом, а пролитая кровь — правилом.

В день небесного погребения отца силуэты кружащих стервятников врезались в память его десятилетних глаз, и с тех пор он научился говорить языком кулаков, научился в законах выживания, где сильный пожирает слабого, закалять себя, превращая в обнаженный клинок.

В пятнадцать лет уставшая мать вечно бросала его и уходила — этот момент заставил его глубоко понять: без силы невозможно удержать ничего.

Лишь когда он отправился учиться в университет в Пекине, холодные статьи в учебниках по юриспруденции впервые позволили ему осознать: оказывается, то привычное насилие и та логика, в которой виноват слабый, в ином мире именуются преступлением.

Но нечто уже проросло в его плоть и кровь — презрение к слабости, вера в силу, подобно нетающим снегом вершинам гор, безмолвно возвышались на самой вершине его системы ценностей.

В тот год он стоял на коленях в молельне и снова и снова спрашивал наставника: почему именно я? почему выжил именно я? почему они умерли? почему брошенным оказался именно я? и зачем мне вообще жить?

Наставник ничего ему не ответил, лишь указал на старое дерево за пределами молельни.

То дерево было поражено молнией, ствол его обуглился, но ветви и листья все еще продолжали расти.

Наставник произнес: посмотри на то дерево. Его ударила молния, оно не умерло, значит, должно расти дальше. Не потому, что оно хочет расти, а потому, что раз живешь — должен расти.

Доцзи тогда этого не понимал.

Позже он понял.

Раз живешь — должен расти.

Хочешь ты того или нет.

Он снова затянулся, наблюдая, как рассеивается дым.

Цзи Сюй боится больниц, боится иголок, боится самой жизни.

Стоит ему повысить голос — тот пугается, стоит начать смотреть на него не отрываясь — тот пугается; кажется, что страх для него — это вообще всё.

Но столь робкий человек все же осмелился в одиночку приехать в Тибет.

Осмелился отдать десять тысяч юаней незнакомцу.

Осмелился в ливень выбежать наружу, чтобы затащить в укрытие те цветочные горшки.

Осмелился в бреду, когда жар затуманивал разум, вцепиться мертвой хваткой в полу чужой одежды и не отпускать.

Доцзи затушил сигарету ожесточенным движением в жестяной банке на подоконнике.

Он вспомнил те слова: здесь твою жизнь я притащил на спине из конца переулка.

Это были его собственные слова.

Но в этот миг ему вдруг подумалось: быть может, вовсе не он вернул на своей спине жизнь Цзи Сюя.

Это Цзи Сюй, в каком-то неведомом даже ему самому уголке, вернул что-то принадлежавшее ему самому.

Он поднял взгляд на комнату второго этажа, где горел слабый свет.

Свет сочился сквозь дверной зазор тонкой ниточкой.

Он просирожил там всю ночь.

Не ради чего-то особенного, просто хотелось посидеть рядом.

Жалость? Пожалуй, не только она.

Было здесь и нечто такое, с чем он еще никогда не сталкивался — мягкое смущение, подобно весеннему дождю, просачивающемуся в промерзшую землю, бесшумно растапливало в его сердце ту затянутую льдом снежную вершину.

Глава 10. Любящий лгать господин Горошинка

Цзи Сюй утром разок полусонно пришел в себя, не увидел Доцзи, но, не справившись с накатившей сонливостью, снова провалился в сон.

Проснувшись во второй раз, он обнаружил, что уже полдень.

Когда Доцзи толкнул дверь, входя вместе с доктором, то увидел, что Цзи Сюй смотрит в окно.

Солнечный свет падал на его лицо, освещая влажные ресницы и едва заметный дрожащий изгиб уголков рта.

Осмотрев пациента, врач сказал, что всё в порядке, и велел Доцзи идти оформлять документы.

Цзи Сюй сидел на больничной койке, провожая взглядом массивную спину Доцзи, удаляющуюся в коридоре, и машинально теребил пальцами край пледа.

Жар спал, сознание прояснилось, и он помнил всё, что наговорил вчера.

Он помнил, как плакал, помнил, как отбивался, помнил, как кто-то крепко прижимал его к себе, снова и снова повторяя: никто тебя не запрет.

Из коридора донеслись шаги, Цзи Сюй резко отдернул руку и опустил взгляд.

Доцзи вернулся с пакетом лекарств, на его лице не отражалось никаких эмоций.

Идти можешь?

Цзи Сюй кивнул и, откинув плед, встал с постели.

Едва его стопы коснулись пола, перед глазами на мгновение потемнело, и он инстинктивно ухватился за край койки.

Рука Доцзи уже протянулась вперед, надежно поддерживая его под локоть.

Потихоньку. Голос мужчины звучал ровно, но движения были удивительно мягкими.

Дорога обратно в постоялый двор прошла в молчании.

Доцзи был полностью сосредоточен на дороге впереди, а Цзи Сюй смотрел в окно на проносящиеся мимо молитвенные флаги и снежные вершины.

Слышались лишь мертвое тиканье приборной панели и еле слышный гул дефлектора печки.

Машина остановилась у входа в постоялый двор.

Доцзи вышел первым, обошел машину и распахнул дверь со стороны пассажира.

Цзи Сюй только попытался вылезти сам, как Доцзи уже протянул руки и подхватил его поперек талии, разом вытаскивая наружу.

Я сам мож... У Цзи Сюя вспыхнули уши.

Побереги силы. Доцзи прервал его, уверенно и ровно шагая с ношей во двор, поднимаясь по лестнице, пока не опустил его на невысокую тахту в комнате.

Все движения были плавными и неотвратимыми.

Цзи Сюй утонул в мягком тибетском ковре, глядя, как Доцзи разворачивается и выходит, чтобы вскоре вернуться с пиалой теплого масляного чая.

Это он приготовил и оставил подогреться сразу после того, как управился с утренними делами.

Пей. Доцзи протянул ему пиалу, присел на стоявшую рядом стул, устремив на него взгляд. Ты в эти дни нормально ел?

Цзи Сюй обхватил ладонями теплую глиняную пиалу, чувствуя исходящее от кончиков пальцев тепло.

Он покусал губы и ответил очень тихо: ...ел.

Всё съел?

... Цзи Сюй не нашелся что ответить.

Он не смел признаться, что еда быстро надоела, он почти ничего не тронул и выбросил, а потом поднялся жар и он заснул, напрочь забыв убрать со стола мусор.

Видя его опущенную голову, Доцзи почувствовал, как внутри всколыхнулось сдерживаемое чувство — из-за тех прозвучавших в горячем бреду упоминаний о белой комнате, из-за того, как неуклюже он сейчас пытался соврать.

Похоже, он не просто господин Горошинка, но еще и лживый господин Горошинка.

Но он не стал ни о чем расспрашивать.

Лежи. Доцзи поднялся. Я пойду приготовлю поесть.

Не нужно утруждаться... Цзи Сюй поднял голову.

Доцзи уже дошел до двери, услышав это, он обернулся и бросил на него взгляд.

Взгляд был глубоким, неся в себе нечто тяжеловесное и непонятное для Цзи Сюя.

Не утруждаюсь. Горошинка, его голос прозвучал чуть мягче обычного, но в нем словно таился еще более весомый подтекст: Будешь нормально есть — вот тогда не утрудишься.

Дверь тихо затворилась.

Цзи Сюй прислонился к тахте, прислушиваясь к доносившемуся снизу из кухни легкому звону посуды и постепенно поднимающемуся аромату теплой еды.

Он опустил глаза на масляный чай в своих руках, на поверхности которого затянулась тончайшая молочная пенка.

Он отпил совсем чуть-чуть.

Теплая жидкость скользнула по горлу, и разливающееся тепло постепенно охватило все тело.

За окном заливалось солнце, и молитвенные флаги лениво колыхались на ветру.

Тот кошмар о белой комнате, те воспоминания об иголках и смиренных ремнях...

Казалось, эта пиала горячего чая и безмолвно стряпающий внизу мужчина временно оттеснили в какой-то далекий уголок.

Вскоре Доцзи поднялся наверх с подносом.

Пиала густо сваренной пшенной каши, тарелочка мелко нарезанной соленой редьки и два мягких паровых пампушки.

Ешь. Он поставил поднос на низкий столик подле Цзи Сюя, уселся на стуле и явно не собирался уходить.

Цзи Сюй взял ложку, зачерпнул кашу и отправил в рот.

Каша была сварена идеально, зернышки разварились, источая чистый аромат злаков.

Он ел ложку за ложкой, а Доцзи сидел рядом и наблюдал, пока пиала не опустела до самого дна.

Наелся? — спросил Доцзи.

Цзи Сюй кивнул и положил ложку.

Доцзи ничего не ответил, лишь протянул руку и тыльной стороной ладони привычно коснулся его лба.

Это движение, призванное убедиться в нормальной температуре, заставило Цзи Сюя на миг слегка напрячься.

Жар спал, но лицо все еще бледное. Доцзи убрал руку, вновь вглядываясь в его лицо.

Он помедлил, словно взвешивая слова, и в конце концов произнес:

В ближайшие дни не выходи наружу, поправляйся здесь.

Еду я буду приносить.

С этими словами он собрал посуду, подхватил поднос и вышел.

У порога Доцзи замер, не оборачиваясь:

Чего хочешь на ужин?

Цзи Сюй опешил и автоматически ответил: ...всё равно.

Нет никакого всё равно, голос Доцзи донесся от двери с едва заметной ноткой беспомощности. Назови то, что сможешь проглотить.

В комнате воцарилась тишина на пару секунд.

...Каша подойдет, — тихо проговорил Цзи Сюй.

Мм.

Дверь тихонько затворилась.

Цзи Сюй остался сидеть на тахте в одиночестве, прислушиваясь к удаляющимся шагам Доцзи внизу и к звукам льющейся на кухне воды.

Солнечный свет пробивался сквозь деревянное окно, отбрасывая на пол теплые пятна.

Он поднял руку, глядя на белую повязку на запястье.

Мысль исчезнуть, некогда казавшаяся столь манящей, в этот момент под лучами теплого солнца и остаточным теплом еды впервые показалась такой далёкой и нереальной.

Внизу Доцзи стоял у раковины.

Струя воды с шумом омывала стенки белой фарфоровой пиалы, его мозолистые пальцы крепко сжимали край посуды, на тыльной стороне ладони чуть выступили вены.

Тусклый свет кухонной лампы отбрасывал тень на его смуглое лицо, а обычно пронзительный взгляд сейчас слегка расфокусировался.

Мыльная пена стекала по краю пиалы.

Он вдруг вспомнил, как Цзи Сюй в бреду вцепился в полу его одежды — руки были до жути ледяными, а вокруг бледно-голубых вен на тыльной стороне ладоней теснились старые и свежие следы от уколов.

И те слезы, когда Цзи Сюй той ночью сорвался, заговорив о больнице.

Взрослый мужчина плакал, свернувшись калачиком в его объятиях и дрожа, словно заблудившийся ребенок.

Пальцы Доцзи непроизвольно сжались сильнее, и края фарфоровой пиалы едва не впились в мозоли на ладони.

<http://bllate.org/book/25596/3052639>